



ГАЛИНА
ОСТРОВСКАЯ

ZOE

Мистерии
и сновяви

Галина Островская

Зое. Мистерии и сновяви

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=65168742

Мистерии и сновяви:
ISBN 978-5-00165-321-9

Аннотация

Утверждают, что эта книга – вещь. Она – уникальное сплетение сакрального знания, сновиденных знаков и жизненного водоворота. По сути это новый вид литературы, где личная драма отображает управленческий характер пророческих сновидений. Проза эта необычная пронизана мелодией, соткана из тончайших звуковых вибраций. Магическая вязь слов и смыслов захватывает читателя в плен, не дает вернуться в обыденность, постоянно уводит с одного пласта восприятия на другой, с одного этажа мироздания на следующий. Фразы, образы, метафоры, красота их и нездешность не дают повествованию погаснуть, повиснуть, рассыпаться. Явь, сон, малоизвестный этнос, чувства, видения, родовые сказы, смерть мамы – все это каким-то невероятным – мифогенным – образом сплавляется воедино, замешивается круто, порождая воистину героическую мистирию.

Особая благодарность Алексу Панину, поэту-вдохновителю за идею публикации книги в «Алетей».

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

43

Галина Островская

Зое. Мистерии и сновяви

©© Г. Островская, 2021

©© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2021



*Это он – мой ангел —
мой сын, рожденный
творить, проник в
рисунок художника
на легких крыльях и
остался там со всей своей непостижимостью.
А из жизни ушел...
Глебу, ставшему светом,
в иные миры шлю это
посвящение.
С любовью.*

Галина Островская

Моя пленница память, монашенка-чернокнижница, боязливая голубка с перебитыми лапками, крылатая тьма и жемчужная заводь. Сегодня я отопру замки, выпущу тебя на волю. Венок из слов, ожерелье из кованых буковок верну, отомкну уста запечатанные. Ты – свободна. Заклятие снято. Говори!

Молчишь? Твой рот, порванный криком. Вопль, застывший по дороге в небо. Твоя нагота и твои одежды... Рана зияющая, глаза цвета меда... Живешь во мне, пьешь мое дыхание, смотришь через мои – лунные, позолоченные, черные – глаза.

Говори! Расскажи им про маму. Маму звали Жизнь. Зоя было ее имя.

Зоя – имя твое, мама, – колокол в звоннице небесного хра-

ма. Мама, ты всегда со мной – рядом, во мне, вокруг. Когда смеюсь – слышу твой смех. Вместо моего. Звонкий, заливи-стый твой смех. Он исходит изнутри, а слышу его – извне. Раньше, до твоей смерти, я так не смеялась...

И руки... Твои руки словно бы стали прорастать сквозь мои. Я держу вещи как-то не так. Выжимаю, как сроду не выжимала, – в обратную сторону. И губы – сами собой – меняют мое лицо на твое.

...Когда мое лицо изменялось первый раз, оно вычертило мне скулы, выдавило их из каких-то давних кочевых времен. На высоких скулах моих косо посаженные глаза стали вратами в капище древних богов. А сами скулы – степью. По ночам боги отпирали темницы и из глубины зрачков моих закрытых глаз выпускали кобылиц, несущихся по степи к водопою; и те пили, взмыленные. Боги поили их моими слезами. А мне велели молчать.

Как звали тех старых моих богов? Этих существ? Не знаю. Они выступали из тишины, оглушительной, падающей, как занавес, и отсекающей меня от жизни. А жизнь – от меня. Одна, привязанная к каменному столбу ужаса, совсем маленькая, я изо всех сил рвала пути страха и бежала, пряталась в шкаф, где, словно мертвецы, висели бабушкины платья. Дно шкафа, фанерное, пахнущее сосной, накренялось, и один его край, тот, где пряталась я, шел под откос, проваливался в пустоту. Мощные руки незримых моих богов схватывали меня. И – спасали от того, другого ужаса: быть ута-

щенной под землю. А потом возвращалась мама. И боги и страх исчезали. Переставали быть.

Декабрьским морозным днем – ледяные розы устлали мой путь на этот свет – мама родила меня. На улице, схватившись за ветхие зубы черного забора. Крупный плод, оторвавшийся внезапно, – девочка, почти пять килограммов, я. Падало вниз головой горячее тельце с моим сердцем, раздирая мамину плоть, прямо на белые простыни снега. Не долетело: нас схватили сильные руки, опрокинули на сани, на сено, в тепло...

Кто послал этого человека в тот час проехать мимо? Чью волю он исполнил, спасая нас? Как его звали-величали?

Не знаю. Знаю только, что когда-то он ухаживал за мамой. Пока ясный сокол один – отважный Воробей – мой отец Борис Воробьев – не унес добычу свою замуж, в дом. Где хранил и берег ее, пока жив был. И никому в обиду не давал.

...Укутанная в одеяльце из маминой крови, я, тогда еще безымянная, тихо лежала у нее в ногах. Упряжные бубенцы разгоняли нечисть, лошадка везла два тела, связанные пуповиной, в больницу.

Больница – это боль. Обитель боли с запахом хлорки, смерти и молока. Престол всех хворей земных, алтарь исцелений.

Боль – живое существо, которое селится в человеке помимо его воли и распинаяет его, терзает, мучает... Притаившись в мозгу, ждет своего часа, когда станет слепым поводырем

в ад.

Боль не знает жалости. Даже если ее забить, как зверя, – лекарствами; даже если надеть на нее смирительную рубаху – она все равно выпутается из длинных рукавов и приползет, сначала тихая и покорная, но очень скоро – невыносимая, пожирающая волю, сводящая с ума.

Помнишь, тогда, в Праге? Я там снова встретила с ней, увидела ее брюхо над собой.

...Сначала мы пили холодное легкое пиво под тяжелым пасмурным небом в каком-то уличном кафе, а потом, укрываясь от непогоды, зашли сюда – в Музей пыток. Ты, мой возлюбленный, был не в восторге от этой идеи, но я настояла. Я смеялась и вела тебя из зала в зал. Покрытые черным лаком и блестящие от падающего на них света, все эти пыточные инструменты – клещи для выдергивания пальцев, пилы, ошейники, колодки, щипцы для вырывания сосков, шипастые груши – были разложены ровными рядами под стеклом. Ты быстрым шагом шел вдоль витрин, наконец остановился у той, где лежали ржавые пояса верности, усмехнулся. А я легла на дыбу.

Смотрительница, старушка в ярко-зеленых шерстяных чулках, сидела, замерев в коконе своих воспоминаний, и не проявляла никакого интереса к единственным двум посетителям – мужчине в кашемировом пальто и молодой, красивой, сильно прихрамывающей женщине.

Итак, я лежала на дыбе. Смешанное чувство щемящего

ужаса, восторга, ирреальности и реальности. И отделение души, и легкость полета, и запах крови, брызжущей из раструба мясорубки, которая размалывает мое – а не чужое! – тело.

...Боль стояла надо мной и раскачивала, как лодку, грубо сколоченную деревянными гвоздями конструкцию из досок и брусков, веревки, порыжевшие от крови лет триста назад...

Этими веревками привязывали жертву к валикам за запястья и лодыжки, вращали валики в противоположные стороны, тело растягивалось... Я уже буквально слышала и ощущала клацающий звук вырываемых из гнезд суставов, лопающихся сухожилий, но тут наваждение кончилось. Ты спросил:

– Мы сегодня где ужинаем?

Мясной ряд забитых на скотобойнях животных посмотрел на меня в упор, и все рестораны шумной Праги, где подают в изобилии колена вепря, сердца и вырезки убитых тварей бессловесных, все подвалы пражские наполнились кровью.

– Мы сегодня нигде не ужинаем, – ответила я, поднимаясь.

Вдруг Прага стала мне крайне неприятна. Готические соборы, острые свои пальцы втыкающие в бесцветное небо. Каменные мешки кабаков. Дух Голема. Вернее, он сам – выглядывающий из подворотен, воровато перебегающий дорогу в облики кошки – одной, второй, рыжей, черной...

– Может, тогда послушаем орган? – предложил мой возлюбленный. – В соборе святого Вита скоро начинается служ-

ба. В шесть...

Он был эстет и меломан, мой возлюбленный.

– Ладно, – ответила я. – Послушаем. Если нас туда пустят.

Орган – всхлипы ангелов, стучащие по клавишам, подобно дождю – проливному ливню, несмолкаемому плачу. Тысячетрубный глас, текущий по скользким тоннелям в соборы и залы, куда приходят страждущие вернуть ускользающую в быт и суету душу. Орган – это стон Бога.

Мы пристроились к небольшой очереди католиков у бокового портала, склонив головы. Вместе со всеми проследовали к отгороженным канатами скамьям, сели.

Вонзив булатный клинок звука по самую рукоять в сердце, орган – маг, чародей, волшебник – бросил меня в синий холод, в беспредельную мглу, освещаемую лишь всполохами звезд. Холод окутал, как саван. Спасаясь, я скрестила ноги, подоткнула под себя полы одежды, носом уткнулась в рукав моему другу. Его пальто слегка пахло намокшей шерстью, неуловимо – роскошью, явственно – старыми книгами. Он был книгочей, мой возлюбленный.

Орган, провозгласив начало службы, умолк. Шаркающие шаги горбатого священника вплелись в умирающее эхо. Коленопреклоненные люди, пришедшие на мессу, все как один с укоризной оглянулись на странную пару, спешно покидающую огромный, сейчас почти пустой кафедральный собор с его витражами, усыпальницей королей, мощами святых, каменными изваяниями и бронзовыми скульптурами прежде

живущих людей, когда-то живых...

Ажурная вязь собора, вознесенная ввысь, была вся облеплена исчадиями ада – горгульями и химерами, выползшими из осклизлого камня порочного воображения зодчего. Эти твари с разверзнутыми ртами и мертвыми глазами гнездятся на всех готических храмах по всей Европе, в Средние века залитой кровью, грязью и чумой. Чума отступила, а твари остались. Уйдем отсюда, мой возлюбленный! Давай уйдем.

Давай, остановив время, минуя границы и лестничные проемы, навестим мамину квартирку на четвертом этаже в странном городе Йошкар-Оле, в стольном городе Йошкар-Оле, где сейчас стоят ведра с голубой краской, разложены рулоны обоев... Заперев дверь за собой, быстро спускается по лестнице медноволосая моя кузина, затеявшая этот ремонт. Звук ее шагов замолк внизу – утих ветер, уносящий башмачки быстрой, отважной моей Герды сразу в три места: прошлое, настоящее и будущее. Она умеет попадать туда за просто, ей это ничего не стоит, ведь она тоже из края Калевалы, из Карелии, как я и моя мама, как ее отец, мамин брат. Кровь наших северных предков заговаривали полярные ветра, каменистые речки над ней волховали, звенели гусли карельские – кантеле. И стала кровь студеной, но горячей, волшебной. Такой, что ею можно даже делать росписи на невидимых сводах Храма Всего Сущего, рисовать события.

И мы тоже волшебницами стали. Время пришло. И неважно, что родились далеко-далеко от края, где огненные стол-

бы по небу ходят, а медведи понимают речь людскую... Нас хоть и оторвали почему-то от страны чудотворной, но не лишили ее силы.

Так что, мой возлюбленный, давай я разорву ветошь преград – я умею, – и пойдём со мной – сейчас! – в край мари, Марий Эл, где мама, стоя на белом снегу, в сорокаградусный мороз родила меня. Полетим в Йошкар-Олу. Это от златоглавой и суетливой Москвы в семистах с лишком верстах, а отсюда... А отсюда – всего лишь в одном шаге. Но особенном, конечно. Мы там очутимся в мгновение ока, и ты увидишь... Ты сам всё увидишь...

В Йошкар-Оле я прожила двадцать пять лет своей жизни. И еще почти два месяца – спустя годы, – когда провожала маму в дальний путь, уложив ее в голубой маленький гроб и облачив в нарядные одежды для грядущего. Сейчас лишь поломанная мебель и остатки посуды сохранились тут от нее. Вот эти самые тарелки – с позолоченными ободками и розами на доньшке, – в которые я положу поминальные блинчики, испеченные из воспоминаний.

В тот год, когда мама ходила беременная мною, она покупала эти тарелочки – в месяц по одной, не расточительствуя лишнего. А потом гости ели из них щук, пойманных отцом на серебряные блесны и обжаренных до золотого свечения. Леща, сома, судачка... Сколько раз! Сколько раз мама, пока другие еще веселились, мыла-намывала тарелки до блеска, выкладывала их стопочкой – до следующих праздников. А

следующий праздник – опять застолье: грузди белые, грузди черные, подберезовики-подосиновики, рыжики-маслята и, конечно, столу голова – белый гриб. Соленые-вареные, жареные-маринованные грибочки: папа сам собирал. «Ой, Зойка! Не оторваться! Вкуснота!» – хвалили гости мою маму, пережившую в детстве тяжелый голод.

...Дай руку, избранник, и окажемся там, где еще слышно эхо моего рода, где липы детства так же тенисты, только дупла стали больше. Где церкви выстроились, одна причудливей другой, вдоль когда-то запруженной, илистой речушки Кокшаги, на берегу которой долго оставались следы моих босых пяток. Кокшага как текла, так и течет в Волгу, но из грязной речушки превратилась в широкое светлое зеркало, отражающее терема и храмы, построенные недавно, уже без меня. Сейчас Йошкар-Ола лощеной модницей слывет, дивятся люди на нее, приезжают смотреть, как на чудо. Правда, чудо это – в заплатах...

Нет? В чем дело? Ты думаешь, что тебе нет места там? Что этот город населен персонажами и призраками, которые только мне интересны? Что метаморфозы, происшедшие с городом за годы моего отсутствия, поменяли прежний колдовской замес и ни мне, ни тебе нечего там делать? Что все эти терема и церкви – шкатулка с чертиками, детская забава? А памятники воеводам, котам, иностранцам, Державной Божьей Матери, царям, патриархам и гусярам – бронзовые прихоти местного князька?

Хорошо, останемся в Праге, где под ногами голые скользкие булыжники, кабаки полны свиных окороков, по Карлову мосту бродят каторжники-столетия и туристы... Но что нас держит тут, что занесло сюда – в инквизицию и папство?

Зачем мы приехали к этим горгульям и химерам? К братьям славянам, кем-то когда-то сбитым с пути.

Хорошо, пойдем в отель. Останемся еще на ночь в Праге. По дороге я буду посвящать тебя в мои тайны. Знаешь, все они начертаны на плащанице моей судьбы мамой. И жизнь моя ее снами запечатана... Вот, посмотри на мое лицо. Я становлюсь всё больше похожей на нее. Славянский тип старения уже потянул лицо вниз. Видишь, как опускаются щеки, добреет лицо, как складки у губ всё четче и четче обрисовывают округлость подбородка? Это последний сезон надвигается, это плоть уже землю чувствует и начинает течь вспять потихоньку, не к небу – к земле. А вот когда цвел май и я носила высокие каблуки...

Ты заинтересованно посмотрел на мои грубые ботинки на низком ходу, на долю секунды задержал внимание на левом, носок которого был слегка оббит, поинтересовался, какой высоты каблуки я предпочитала, когда, еще юная, чья-то «миндальная греза» (он был поэт, мой возлюбленный), вытанцовывала в кабаках (хамом он тоже был, увы).

– Больше десяти сантиметров? Двенадцать? И зимой? А... Зимой – пониже. Понятно, по заснеженным подворотням и заледенелым дорогам вашей Йошкар-Ешки, Йош-

кар-Олы вашей, не очень-то... А юбки какие носила? Короткие? Я так и знал...

Сейчас я ношу длинные юбки, до пола. Обожаю это струение тканей скользящих, низвержение шелка, закручивание, завихривание. Обман. Когда люди останавливаются и, снедаемые любопытством, – кто тайком, кто откровенно и нагло – пытаются разглядеть, отчего эта нарядная женщина так сильно хромает, юбки не дают им это знать. Магия покрывал застилает зевакам глаза.

Но я отвлеклась.

* * *

В мае, когда все ждут лета, мы ждали беды. Целый год. Она оставляла знаки на дороге, весьма красноречивые. Посыльных засылала, сны показывала. В одном сне, обернувшись портнихой, так и сказала маме: «Жди, женщина, в мае приду. Платье в мае будет готово». Я тогда посмеялась – может, свадебное? Но мама только головой покачала.

...Мне было двадцать три, и был человек один в жизни моей, особенный. На старый Новый год мама сон загадывала, спросила, уеду я к нему или нет. И увидела сон. А наутро сказала мне: «Не попадешь ты за этого человека замуж, доченька». И еще сказала: «Видела его сегодня. Весь в черном. Брюки черные, рубашка... У окна стоит, в ночь черную смотрит. Во тьму непроглядную. Сколько ни звала – не обер-

нулся. Не попадешь ты за него замуж, нет».

(Как в воду мама глядела – ушел из жизни человек этот, не перенеся того, что случилось с кареглазой его снегурочкой. Бедастряслась со мной – а убила его. Сердце не выдержало, разорвалось. Упал в пыль лицом и умер. О том я позже узнала, от чужих людей. А спустя годы в другой жизни, в другом государстве нашла-таки его могилку. Но она была пуста, только косточки там хранились. Любовь же его витала надо мной – любовь в могилу не зароешь...)

...В конце апреля беда заслала нам вестового, чтоб сомнений не было в серьезности ее намерений. Был белый день, часа три, наверное. Мы с мамой сидели в гостиной, разговаривали. Не помню, о чем. Внезапно словно солнце погасло. Оконное стекло потемнело. Тень с округлыми очертаниями прилипла к нему со стороны улицы. Тень, смотрящая на нас. Лязг, скрежет, стук – мы остолбенели. Не тень, а... с локоть величиной... царапая стекло когтями... к нам в дом билась сова.

Вытаращенные желтые глаза, костяной клюв, необъяснимость, невероятность появления ее в самом центре многолюдного города... Мама выскочила на балкон, пыталась выгнать птицу, бросала в нее половыми тряпками, но сова перелетала с места на место, пряталась, выпархивала, похожая на соломенное чучело.

Тогда мама очень перепугалась. А я – нет. Подумаешь, сова залетела...

...Однажды, когда уже черемуха цвела, когда сладкий дурман носился на прохладных крыльях майского ветра, в выходной день, базарный, вернулась мама с рынка. Выкладывает из сумки творожок, мед, у марийки купленный (она всегда у одной и той же марийки мед покупала), яйца деревенские. А сама тем временем рассказывает, словно горошины перебирает, медленно:

– Иду я, доченька, а навстречу цыганка. Пожилая. Когда ее раньше на нашем рынке не видела... Со мной поравнялась. Просить ничего не просит. А сказать – сказала. Говорит: «Женщина, перемена жизни будет». И исчезла. Будто ее и не было... Купила я всё, что мне надо, иду обратно. Навстречу – другая цыганка. Теперь – молодая. Идет – юбками колышет. Сама худенькая, чернявая. Тоже таких никогда не видывала у нас... Идет и мимоходом говорит, даже головы не поворачивая: «Перемена жизни будет. Жди, женщина». Думала, денег просить станет, а ее уже и след простыл.

Вскипел чайник. Заварили чай – крепкий, ароматный. Дома мы пили только свежезаваренный, из блюдец, с сахаром вприкуску. Сахар мама колола щипчиками отцовскими – они и по сей день живы, у меня хранятся, щипчики деда Осипа.

Мама гадала на чайниках, как и ее мать – Марфа. Различали обе, что гость прибудет скоро, или деньги неожиданные на пороге, или дорога дальняя или ближняя вот-вот случится. Про смерть неожиданную мог чай сказать. Что в тот раз показало гаданье, мама не призналась. Лишь с досадой вы-

плеснула остатки чайные в раковину... А я так и осталась думать, что перемена жизни – это благо...

* * *

...Кривыми переулками, кособокими пражскими улочками мы с моим возлюбленным вышли к отелю. Здесь, наверное, раньше монастырь был... Глухие стены, маленькие дворы, гулкие коридоры. Номера – кельи с высоченным потолками. Над кроватью – католическое распятие. Запах сырой извести, гвоздики и кардамона; тишина. Тишина – приговор к молчанию. Мы не проронили ни слова ни тогда, когда я расстилала постель, ни тогда, когда погасли ночники.

Ночью я рассматривала сны, которые видела полжизни назад, перед аварией. Незадолго до того, как каблуки мои оторвало вместе с ногами.

Первый был не сон – явь. Странная, наполненная фиолетовым светом комната. Я лежу на полу, потолок исчезает, и надо мной – глаза. Два глаза – не человеческие. Две ладьи, плывущие надо мной в лазури ночи. Глаза видят меня, смотрят на меня, знают про меня всё – и то, что было, и то, что будет. Из взгляда этих неземных глаз рождается музыка. Она льется, струится, касается меня – и успокаивает.

Второй сон. Из ниоткуда, из серого тумана появляется моя фигура – я в легком платье, босиком. Захожу в каменные арочные ворота. Ворота эти, старые, местами с обвалив-

шейся штукатуркой, словно бы висят в воздухе. Под ними небо. И над ними небо.

Переступаю каменный порог. По одну сторону – шесть исполинов-ангелов, с мощными крыльями за спиной, с мечами в руках. И по другую – шесть. Я им по колено. Иду, рассматриваю дивных человеко-птиц Божьих. Они похожи меж собой, но разные. И по возрасту тоже. В доспехи одеты, кольчуга кованая – плетения воздушного. Ангельское воинство, рать святая, должно быть, понимаю я зачарованно.

Смотрят на меня воины. Такой любви, какую их глаза источали, на земле нет. Глаза полны... скорби. С великой скорбью они смотрели на гостью свою, на меня, разутую...

Дойдя до конца ряда, я, помедлив мгновение, обратно повернула... Ангелы скрестили крылья на груди, склонили головы. Я ушла. Отпустили меня Силы обратно на землю. Не забрали к себе.

Потом были другие сны.

Яма, усеянная цветами – голубыми, красными, тигровыми. Это – лилии. Они раскачиваются на сочных толстых стеблях – и превращаются в змей. Змеи шипят, набрасываются на меня. Мелкие головки, злые глаза... я каким-то тесаком отбиваюсь, рублю головы, а их всё больше и больше. Уже и трава обернулась змеями...

Спускаюсь к избушке покосившейся. Из черных досок сколочена, как забор тот, у которого мама на свет божий меня принесла... Хочу дверь открыть и в избушку войти, но

медлю. Под ногами мокро, склизко, бруски прогнившие... Внезапно решаю не заходить в дом, который не чем иным, как смертной избенкой был. Той самой: во сне в нее войдешь – и наяву живым не быть...

Не переступила я порога гибельного, ушла оттуда...

...Прага, черная, ночная, не дышит, молча смотрит в узенькое, как кошачий зрачок, окно. Смотрит на меня, лежащую на белоснежной простыне под распятием. Возлюбленный мой давно спит. Он как будто из другой жизни – не моей, – мой возлюбленный.

Жестокий и нежный, беспомощный и всемогущий. И вот эти его черты лица, от которых у меня перехватывает дыхание. А сейчас смотрю на него и словно с кручи лечу в бездну памяти.

(И зачем я только легла на дыбу! Мозг связал концы с концами, затянул в узлы ассоциации. Перетасовал прошлое с настоящим. Мозг – безжалостный визирь, отдающий жестокие команды, очень жестокие. Он посылает меня туда, где я быть не хочу... Не хочу! И я не поддамся ему, вышагну из морока, разомкну объятия, уничтожу силки памяти. Не буду думать, что он, мой возлюбленный, когда-то послал меня на казнь. Зачем я буду об этом думать, если этого никогда и не было? Ведь не было же!)

...Тогда, давно, когда я, двадцатитрехлетняя, шла навстречу солнцу и придуманному счастью с другим человеком, держа в руках дорожный чемоданчик, тьма, как тать,

обрушилась на меня, намереваясь уничтожить. И показала сон.

Столы дощатые, длинные, словно на свадьбу выставленные. Столы необрубленными полотенцами покрыты. На таких покойника в землю отпускают, и такие бабушка себе запасала на смерть. Вместо подносов со снедью на столах лежит сырое мясо кругляшами, кровавыми колесами – корову, верно, на бойне поперек туловища пилили, еще живую. Я в короткой юбке, цвета не помню, в босоножках на самых высоких своих каблуках, иду по столу, перешагиваю мясо. Куски размером в мой шаг, приходится слегка подпрыгивать, но очень осторожно, чтоб не оступиться, не поскользнуться. До самого края последнего из столов дошла. Стою на краю и смотрю в небо пустое... На том и проснулась. Маме сон не стала рассказывать – пощадила ее...

* * *

«Пекло, небо, рай» – так называлась довольно известная в Праге чайная, куда мы направились поутру. Интерьер ее был незатейливый, но довольно приятный, в двух цветах: ад был красным, рай – небесным. Чай – отборным. Нам пришлось поблуждать в поиске этого милого местечка, но мой возлюбленный знал, что такого кальянного табака, какой предлагают здесь, больше во всей Праге не сыскать.

Он долго разрыхлял поданный ему табак, неспешно обмо-

тал кальянную чашу фольгой, проколол туго натянутую поверхность специальной шпажкой во множестве мест, щипчиками взял тлеющий уголек, водрузил его осторожно на серебрящуюся поверхность, затянулся. Его тамерлановы брови удивленно поднялись, но лишь на секунду. В кальяне забулькала вода, и белое облако дыма отделилось от поднесенного ко рту мундштука, обволакивая нежной сладостью фруктового варенья почти пустой зал.

Я же сделала глоточек чая.

Дома, целую жизнь назад, мы пили только индийский чай. Черный байховый. Желтая пачка, синий слон с вытянутым хоботом на фоне храма, погонщик-индус в красной рубахе и чалме... Девяносто пять копеек... В магазинах его не было: в ту пору много чего не было в магазинах. Даже из самого необходимого. Но этот чай сам тек к нам каким-то загадочным образом – через руки гостей, через случайности, невероятности. Не иначе как чайный путь пролегал в наш дом прямо с небесных плантаций.

...Кальян делает людей пленниками текущего момента, запирает их надолго в аморфную тюрьму с дымными стенами, а помутненное неспешностью сознание начинает мнить себя королем... увы... чьи владения – лишь царство пустых грез. Вот и сидит мой возлюбленный, облаченный в клубы фимиама, блуждает где-то, а я пью чай.

Когда я курила – предпочитала сигареты. Обожала вид пламени, вырывающегося из узенького жерла зажигалки и

поднесенного к лицу; или серный след, выющийся над прогорающей спичкой. Боготворила этот миг перехода из земного бытования в собственное измерение, где я – это я. Сигарета – отрезок вечности, бумажно-табачный обман, держащий нас в плену и не дающий ощутить вкус свободы. Когда же я осознала, что не я хозяйка своих дорог, а эти горчащие белые обрубки, набитые в бесконечные пачки, сжигающие мои деньги, силы и время, я покончила с несвободой.

...Мой возлюбленный сидел в дыму, как в тулупе. Его глаза были полужакрыты, и синенький райский раскрас чайной и сизый дым, образовавший шапку над его головой, сильно занижали градус моей любви к нему. Я смотрела на обмякшую фигуру и про себя повторяла: милый, мне скучно... Мне вдвоем в такие минуты – как в одиночной камере: некуда деться, надо сидеть, надо ждать, надо подыгрывать. Одной веселее. Душа твоя погрузилась в обморок пустоты и падает осенним листом к стопам болвана. Ты одиночество не скрашиваешь, мой друг, ты его порождаешь.

– Хороший табак, – задумчиво глядя на прогорающие угольки, сказал он. – Удачный. И не пересушен. Хочешь затянуться? У наргиле дивный вкус сегодня, – назвал кальян так, как называют его у нас, на Ближнем Востоке.

– Рассказать тебе, как я бросила курить? – сказала я с понятным только мне вызовом и поставила чашечку на ладонь, обхватив пальцами ее покатые бока. Словно теплое яичко утиное в руку взяла...

Мужчины редко понимают подводные течения, те сложные и внезапные ассоциации, на основе которых делаются странные на их взгляд выводы. Они не понимают, неспособны понять, чем руководствовалась женщина, вдруг ускользнувшая из объятий, например. Или вдруг сменившая трассу... Редко кто из них догадывается, что женщина просто обижена. А уж на что обижена – эта головоломка не для завоевателей.

– Когда я поняла, что курить хочу не я, а существо, которое притворяется голодом и, сидя у меня в животе, клянчит сигаретку, я стала морить голодом его. «Ах ты, гаденыш! – говорила я ему. – Ты хочешь, чтоб я сейчас встала и побежала за сигаретками тебе? Не получишь. Я тебя уморю, уничтожу. Я тебе не позволю больше командовать мной».

Мой возлюбленный смотрел на меня с нарастающим любопытством. В действительности он любил, когда я что-нибудь рассказываю, ибо финал моих рассказов всегда оказывался неожиданным. Немыслимо трудно было вычислить алгоритм, по которому моя мысль достигала той скрытой вершины, где жил парадокс. Но, к слову сказать, такого уровня вдохновения, как с моим возлюбленным, я не со всяким могла достичь.

Да, он вдохновлял и этим обрел меня однажды. Но сейчас цель моя была проста: во мне жила обида на то, что он опять в этом дымном тулупе – а я одна! – и мне захотелось пожаловаться на свое одиночество. Пусть даже в форме многослов-

ного невразумительного символа.

— Когда я поняла, что, закуривая, не никотина ищю, а пытаюсь перехваченное горло освободить, я попробовала дышать — словно затягиваться. Два глубоких вдоха — и всё. Третий вдох не удавалось сделать — голову обносило, как от крепчайшей сигары. При моей чувствительности, острой реакции на несправедливость, обидчивости я вынуждена была курить беспрерывно. Эта обнаженность, отсутствие кожи, которое необходимо было скрывать, эта боль от дисгармонии окружающего мира, эти слезы, при любом, даже малейшем, намеке на хамство наворачивающиеся на глаза... Я курила пачками, глуша боль, а могла бы просто дышать — глубоко и ритмично. Втягивать в себя рай, а не ад.

* * *

Сигарета была последней, прибереженной с ночи. В спичечном коробке, полном пепла и обгоревших спичек, оставалось лишь две или три целых. Я ждала попутного транспорта. Каблуки утопали в холодной упругой пыли. Было зябко, наложница ночь неспешно уходила, волоча за собой измятые простыни тьмы. Одна среди гудящего предрассветного мира, я стояла на перекрестке и вертела в руках эту последнюю сигарету, боясь закурить, ибо знала, что потом могу остаться на пару часов без курева: в лесах и полях табака не достать. И что меня занесло в эту глушь? Да еще с ночевкой. В эту

марийскую деревню с ее гусями, банями по-черному, ядовито-сочной травой, пьяненькими мужичками и мычащей истошно скотиной. Зачем я оказалась тут, на краю своей погибели? В цепких лапах дремучего язычества.

Не знаю, что было вначале: либо глаз увидел на том конце поля, отделяющего проселочную дорогу от деревни, движущуюся фигуру, либо эти внезапно вспотевшие ладони. Они буквально взмокли от пота. Засунув сигарету в карман плаща (замок на сумке никак не открывался), я вытерла ладони о полы. Ладони опять покрылись влагой, а теперь еще и запястья. Фигура приближалась. Стало понятно, что это женщина. Старуха. Паника охватила меня. Я вытащила сигарету, нащупала целую спичку, чиркнула. Огонь вспыхнул и погас. Глазами я все время следила за приближавшимся силуэтом. Зажгла вторую спичку, прикурила. Лихорадочно вдыхая горький дым первой утренней сигареты, сделала несколько затяжек, стряхнула пепел вместе с огоньком. Чинарик спешно сунула в карман: замок на сумке никак не открывался...

Увы, никакого «потом» не было. Мое будущее перевернулось в этот час, прихватив из мрака неизвестности сюжеты иной жизни – не моей. Или прежняя жизнь была не моею? Кто разберет? Два разных тела дала мне судьба, два обличия, устроив эту встречу на перекрестке времен.

...Кривоногая, в резиновых сапогах и расстегнутой фуфайке, марийка шла ко мне, и всё отчетливей и отчетливей

я видела детали. Ряды серебряных монет от шеи до груди, длинный волос на подбородке... И вдруг всё стерлось. Я не поняла, как она оказалась возле меня, вплотную ко мне. Она что-то говорила, спрашивала, куда я еду. Паника нарастала. Причина была мне неизвестна, но звериных инстинктов у человека никто не отменял: я чуяла неладное. Думала: приедет машина, пускай бабка первая садится и едет куда ей надо. А я подожду следующую... Начинаю отходить, а она опять ко мне суется, липнет. Вспомнила внезапно: чтоб дурное не пристало, надо фигу сложить, так мама учила. Вспомнила, а руки как не мои, не слушаются, все в испарине. Бабка возле меня топчется, за спину норовит мне зайти и всё что-то бормочет. Опутывает. Если бы я тогда поняла, что она силу мою крадет, чтоб жизнь забрать! Бабка эта была деревенской колдуньей – вувер кува.

Она шла умирать, но умирать боялась: на страшные предсмертные муки обречены колдуны. Вот и вышла в последний путь, чтобы либо чертей своих передать, либо жизнь забрать. Встретила меня. Тридцать первого мая. В последний день заявленного срока.

– Так ты думаешь, эта старая черемиска, так ведь зовут этот народец, выполняла волю Всевышнего? – спросил мой друг возлюбленный.

Я оторопела. Мы сидели в той же чайной, в Праге. Чай в изящном чайнике совсем остыл. Под голубыми сводами рая висели пласты дыма. Чешская и немецкая речь разносилась

из-за соседних столиков.

– Я не поняла твоего вопроса, – попыталась я окольным путем понять, откуда он знает про эту мариюку.

Я же не могла ему вот прямо сейчас взять и рассказать эту историю. Я об этом не рассказываю. Просто так. Никому. Я об этом даже не думаю. Но вопрос меня заинтриговал, к тому же мой возлюбленный был совершенно не случайным лицом в моей жизни. Он, чуждый, сложный, в чем-то порочный, хорошо читаемый в мелочах и абсолютно непостижимый в главном, странными путями приведенный в мою жизнь, тем и приковал мое внимание, на то и приманил, – что каким-то образом знал обо мне больше, чем все остальные в моей жизни. Иногда знал факты, как сейчас, – и это бы могло насторожить. Но чаще – глубинные течения и водовороты моей истинной сути, сокрытые от других. Он как будто был приставлен ко мне кем-то высшим. А сейчас он коснулся тайны, которой я не нашла объяснения до сих пор...

«Ты, мой возлюбленный, – картежник. Умеешь блефовать. И это твое внезапное озарение, непонятная осведомленность и, главное, столь точное попадание в развертывающийся лишь в моей голове сюжет – очевидно, просто плод отрывочных знаний, довольно хорошего знания меня и случайного попадания в цель», – думала я, выцеживая остатки чая из чайничка.

– Поосторожней с крышечкой, – насмешливо перебив изящные мои измышления, сказал он и продолжил. – Итак,

сегодня я был зван порвать какие-то там путы, разбить око-
вы, одной тебе видимые. Потом ты уговаривала меня занять-
ся ремонтом вместо секса в своей Йошкар-Оле. Кстати, где
она? На Волге? Рядом с Казанью? Странно – я думал, в Си-
бири. Предлагала обои поклеить, стены покрасить. А теперь
она ничего не понимает! Спрашиваю, бабка эта тебя специ-
ально под колеса толкнула, чтоб ангелам было чем заняться?
Чтоб не скучали за своими каменными воротами, повисши-
ми между небом и землей? А?

* * *

Май кружился в фокстроте цветения. И вот – последний
аккорд, торжествующий. Тридцатое число, беда миновала,
обошла стороной, заблудилась, отступилась, ушла. Портни-
ха, сказавшая маме во сне, что придет шить платье в мае,
не пришла. Пророчество не сбылось, мама ошиблась. Нико-
гда не ошибавшаяся – ошиблась. Бывает. А теперь, мама,
не останавливай! Я еду. Меня ждут! Мама, ну закрой же ты
дверь наконец! Мам, ну уйди! Ну, мам!!! Я собирала вещи в
дорогу на пару выходных, а мама стояла в дверном проеме
моей комнаты. Хотела что-то сказать. Я слушать ее не хотела.

Дверь она закрыла. Но взгляд ее остался на мне: цвета
остывшего серого пепла, со всё сужающейся точкой зрачков.
Взгляд полярного зверя, снявший с меня материнскую защи-
ту. Это сделала не она, а силы, стоящие за ней. За ней сто-

яли силы, я помню их. Они готовы были уничтожить любого, посмевшего ее обидеть. «Зачем люди меня задевают? – говорила она иногда о недобрых завистниках или хамоватых начальниках. – Меня ведь нельзя обижать: плохо им будет».

И было им плохо.

Цепочка была очень короткой. Вот мама рассказала, что где-то кто-то причинил ей боль, обделил, грубым словом задел. И вот уже она сообщает, что у той женщины с работы муж повесился или еще что-то в этом роде. Мама всегда очень расстраивалась, когда такое происходило. Ей даже подумать о ком-то плохо нельзя было: возмездие настигало обидчика немедля, вне зависимости от ее воли.

«Доченька, это я виновата, что с тобой такое случилось», – сколько раз она мне потом говорила. «Нет, мамочка, не ты. Это судьба моя такая, это ангелы...», – всегда отвечала я.

* * *

...У Зои глаза – синие луны. Или – карельские ледниковые озера. У Зои – дочка и сын маленькие: я и мой брат. Муж, мой папа, которого она сначала во сне увидела, сложив из спичек колодец и пригласив суженого воды напиться, а вскоре и наяву повстречала. В гимнастерке, сапогах хромо-вых стоит отец у бревенчатого сруба колодца – зубы белые, глаз огненный, а веселый какой! У Зои – свекровь, моя бабушка, Александра Романовна. И квартира – новая, хрущев-

ская. В ванной титан, на кухне – газ. Две комнаты и чуланчик. Этаж – первый. Под окнами – шиповник цветет. Мама окна намочит, срежет веточки, в вазочку поставит...

Но по ночам к маме ходит кто-то...

Кто? Она, бывало, среди ночи вскочит, потная, перепуганная. Мы с братом проснемся от шума. Везде свет горит. Мама что-то несусветное рассказывает, о каком-то то ли человеке, то ли звере мохнатом, которого она только что видела. Вот только что он тут был! Отец успокаивает, доказывает, что никого в доме нет, и не было, и быть не может. Бабушка в углу крестится и приговаривает: «Господи, Господи! На ком Борис-то женился! На неруськой женился!» Я хоть и маленькая была, не пугалась и верила, что и вправду – приходит. Ведь кто-то же меня из шкафа бабушкиного вызволял, чтоб другие под землю не утащили.

Одна моя бабушка, отцовская, та, что с нами жила, Романовна, – боялась нечистой силы, колдовства, боялась и моей святой мамы, думая, что та со света ее сжить может (только перед смертью на восьмом десятке лет у мамы прощения попросила за наветы). Другая, «неруськая», карельская моя бабушка, знала, как с нечистой управиться, чтоб та вреда не принесла. И знала, что даже если облик у нечисти не человеческий, тем паче не ангельский, она не всегда зло творит. Просто вид у нее такой – звериный, и люди пугаются. Марфа и весь ее род – из Карелии, страны заклинателей ветров. Страны рек, озер и рун. Руны Марфа напевала мне, малень-

кой, на странном языке, похожем на взмахи крыльев северных птиц, на блеск выныривающих рыбин, на лыжный след под белым небом... Пела, и – «колыхались воды, земли, горы медные дрожали, лопались от пенья скалы, надвое рвались утесы, камни трещины давали»¹.

Марфа сказала маме: «А ты спроси, Зоя, зачем он ходит, к худу или добру. Он тебе скажет».

Глубокой ночью мама снова услышала тяжелое дыхание за головой. От того и проснулась. Папа рядом лежит – никогда ничего не чувствует, спит. Существо, жаром пышущая громада, опять руку маме на лоб положило, как в прошлые разы. Но в прошлые разы она пугалась, вскрикивала, мы просыпались, свекровь частым крестным знамением себя осеняла и шептала быстро-быстро: «Господи, Господи, на ком Борис-то женился!» А в этот раз мама выждала момент, да как схватит его за руку. И вверх повела. А на руке-то шерсть, какой у людей не бывает. Густая, жесткая. Она держит, не отпускает эту руку щетинную и спрашивает: «Ты зачем ко мне ходишь, к худу или добру?» А он отвечает: «Я хожу, потому что тебя и твою мать очень люблю». Вот кто разгадать может этот код?

Кто объяснит, любовь – это худо или добро? Почему он так ответил?

В той первой нашей квартире, маленькой, под окнами которой цвел шиповник, много всего странного происходило: часы в момент смерти дедушки Осипа остановились, пла-

¹ «Калевала» (перевод Леонида Бельского).

стинки ни с того ни с сего замолкали в день ареста маминого брата Ивана, музыканта, известного забияки. Гости собрались, хотят музыку слушать. А музыка не играет... Но самому впечатляющему явлению я свидетелем не была. Хотя рассказ мамин помню во всех подробностях. Она сказительница была дивная, течение ее голоса уносило слушателей в миры сказочные для них, а для мамы – реальные, существующие подле, рядом. Слушает кто-то маму – и очнуться ему тяжело, так и остался бы в ворожке этой словесной.

...Дома перестилали полы. Нас куда-то отправили ночевать, отец уехал на зимнюю рыбалку. Мама легла спать в маленькой комнате; вторая, большая, была проходной. Вдруг слышит: кто-то шубу чистит в прихожей. Подумала, отец, наверное, вернулся. То ли снегом дороги замело, то ли машина сломалась. Удивилась, что не слышала, как дверь отпирается: сон ее очень чутким был всегда. Чистят и чистят шубу, шир-шир, шир-шир... Думает, посмотреть надо, что же это такое! А постелила она себе в тот день на полу из-за ремонта. Рядом ночничок поставила, инструменты тут же в ящике лежат... Хотела свет включить, нажала на кнопку – света нет. Нашупала тапки, осторожно, наощупь, пересекла комнату. А выключатель у самой двери. Нажимает – он щелкает, а света нет. Смотрит она через дверной проем, а там до самой прилоки ростом стоит кто-то. Мохнатый весь, глаза как два блюдца – горят, так что всё видно, что в комнате есть...

«Он на меня смотрит, а я на него. Он глаз не отводит, и

я тоже, – рассказывала мама, и в этом месте все слушатели замирали от напряжения. – Стоим, смотрим друг на друга. Долго смотрим, никто не отступается. А потом думаю: будь что будет. Пошла да и легла, с головой укрылась. Если подойдет, решила, я ему инструментом как стукну! Тут и молоток, и топор... Вдруг петухи за окном запели. Вспомнила, если петухи пропоют, то никто ночной уже силы не имеет. В сон так и провалилась. А утром встаю – свет везде горит, тапки в разные стороны улетели»...

Бабушка Романовна, свекровь мамина, набожная была, суровая, не зря Бирюкова. Работала раньше глазным фельдшером. Ходила по деревням – марийцам трахому лечила. Целые деревни слепли в ту пору. Ресницы в глаз лезут, гноем всё гноится, боль от света нестерпимая, рубцы, роговица мутная, слепота кромешная. Марийцы сильно уважали бабушку Романовну. У них она и ночевать порой оставалась, если, скажем, до ночи глаза от гноя чистила, а домой возвращаться – тридцать километров... Слышала многое от языческого племени. Знала, что колдуны ихние запросто человека в могилу свести могут, болезнь наслать, имущество повредить. Знала, что в каждой марийской деревне есть свой колдун, творящий зло по заказу при помощи нечистой силы, с которой ее невестка, жена Борисова, так запросто общается.

«Если бы знала, на ком Борис женится, не разрешила бы», – гремя кастрюлями, причитала она. А я думала: «Если бы не разрешила, меня на свете бы не было!» От этого

становилось очень неудобно. Потерянно. Будто в пустоту меня бросали, где черный холод, булыжники звезд и гулкое эхо одиночества.

К тому времени я уже знала, что древние боги мои, так пугающие меня раньше, зла не причиняют. Они ведь приходят, потому что любят мою маму. Поэтому, когда бабушка Романовна куда-нибудь уходила, я уже без всякого страха ожидала гостей. Из ящика бабушкиного шкафа доставала холщовый мешок, где хранились ее похоронные вещи. Чулки, штаны, платки откладывала в сторону. А вот платье! Каждый год бабушка у портнихи шила новое платье, готовясь к смерти. Проходил срок, ее на тот свет не забирали, она заказывала другое платье, а прежнее пускала в носку. Больше всего я любила одно, из белого атласа с редкими фиолетовыми бутонами. Оно всегда было прохладным, скользким на ощупь, тяжелым. Я облачалась в не ношенный еще наряд, а чтоб не наступить на подол и не испачкать его, когда буду кружиться, подпоясывалась покрепче смертным же полотенцем. Из нескольких приготовленных бабушкой выбирала самое короткое. А те, на которых в могилу опускают, не трогала – их потом не свернуть как следует, бабушка непременно заметит и пойдет опять новые покупать, думая, что мама ей что-то наколдовала на полотенца эти. Накружившись вволю в смертном платье перед невидимыми зрителями, довольная их одобрением, которое я хорошо чувствовала, я раздевалась, складывала всё обратно. Затем шла в другую комна-

ту, открывала мамин большой шкаф и доставала из ящичка волшебную голубую бабочку – колье чешского стекла и богемские сверкающие бусы в три ряда. Всё это нацепляла на себя, потом уж только надевала мамыны лаковые туфельки – у мамы всегда хранилась новая пара обуви. Становилось очень весело и вовсе не одиноко – в этом наряде, в этом месте, с этими гостями.

Кажется, они тоже веселились, глядя на меня.

Гости эти были высокие, выше потолка, но почему-то помещались даже под моей кроватью и сразу трое могли забраться в шкаф. Они любили пахнуть пылью, это я хорошо помню, по запаху этому и узнавала, что они пришли... И еще они были очень осторожные. Боялись, когда в замочной скважине ворочался ключ, да и всяких громких звуков с улицы боялись.

* * *

Когда-то, мой возлюбленный, ты, должно быть, был царем. Или царем царей. Падишахом. Восточным правителем, жестоким и властным. Иначе откуда у тебя этот взгляд, убивающий птицу на лету, заставляющий луну краснеть, смущающий меня? Вскинешь бровь, и я иду. Взглянешь – и замолкаю.

– Хватит трепаться, – оборвал он поток моего красноречия. – Лучше посмотри на себя в зеркало.

– Ты с ума сошел. Что я увижу в этом мертвом стекле? – ответила я, тем временем открывая сумочку и доставая оттуда маленькое зеркальце.

Зеркальце было куплено когда-то в музее Ватикана. На откидной крышке – Сивилла Дельфийская, молодая, по-крестьянски крупная, измученная грузом тайных знаний и ядами вызванных пророчеств, обреченная знать сокровитное, увековеченная итальянским гением. Она грустила о нас. Ведь мы с тобой, мой возлюбленный, не навечно вдвоем. Надо будет расстаться.

– Ну и? – начала вопрошающе я и тут же расхохоталась.

Ох уж это красное вино, бокал которого я только что выпила в гостиничном буфете. Над верхней губой оно оставило яркий ободок. Видимо, делая очередной глоток, я слишком сильно наклонила бокал.

Я люблю красное вино. Люблю наклонять бокал и наблюдать, как багряная влага скользит по его покатою краешку, не проливаясь. В этой игре стеклянного холода и солнечного тепла, добытого виноградом, я вижу целый мир... Как мама в рисунках ковра видела страны и государства, реки и моря, каких на земле нет.

– Меня все выспрашивают, – рассказывала она, когда мы давно уже жили вдали друг от друга, а папы не стало (она по-прежнему в Йошкар-Оле, в квартирке, где сейчас лежат обои, пахнет краской и сокрыта одна тайна, о которой я расскажу позже; я – здесь, в Израиле, стране медовых мифов и

финиковых пальм). – Говорят, мол, Зоя Осиповна, ты теперь одна живешь, не скучно тебе? А как скучно, доченька? Некогда мне скучать. Утром встану, умоюсь-оденусь, чайник поставлю, покойничков всех чай пить позову. И прошу за вас, чтоб здоровье, счастье было. Потом за хлебушком схожу. А вот вечером уже, когда дела переделаю, сяду отдохнуть и на ковер всё смотрю. А там, доченька, сначала просто узоры, а потом каких только чудес не показывается. И города какие! И люди в кафтанах красных, сапогах сафьяновых. А по рекам лодки большущие плывут! А ниже этого еще мир, а под ним – другой! Не знаю даже, сколько этих стран одна на другую нанизано. Никто друг дружку не видит, делами своими занимаются и даже не знают, что над головой у них кто-то ходит и под ними кто-то живет. Некоторых людей я не по одному разу, доченька, видела. Один – царь, не царь – а уж так на меня зыркал. Я его даже спросить хотела, кто таков...

– А чего не спросила?

– А как спрашивать-то, доченька? Он по-русски-то не говорит, наверное.

– А тот, то ли зверь, то ли человек мохнатый, который к тебе приходил и сказал, что тебя с матерью любит, он на каком языке говорил?

– Не знаю, как-то сказал. Без слов сказал, а я и поняла. Как же это так...

Мама растерялась. Сама себе она таких вопросов не задавала – зачем? Она верила в чудеса и никогда не объясняла

невероятное обыденным.

В крае волшбы, откуда родители Зои, Осип и Марфа, скалы – это окаменевшие давным-давно люди; деревья – живые существа, сорок дней по своей смерти плачут, когда их срубят. Камни издают звук пустоты, приближаясь к воротам обратной реальности. А ключи от тех ворот брошены в колдовские лабиринты, откуда живым не выйти. Рыбачьи сети забирают в плен ветер, и тот поет древние руны на своем свистящем языке. Серебряные речки-бесприданницы плачут и бьются о скалистые пороги, и брюхаты они рыбой, и не скрыть того... Они оба карелы, Осип и Марфа. Из Карелии, края волшбы...

Мой царь задумчиво молчал. Иногда он любил неизвестно о чем молчать с таким вот видом, как сейчас: брови насуплены, глаза полуприкрыты, руки скрещены на груди.

Вальяжен и властен, глубокомыслен и пуст. В нем сочетались разные эпохи, настроения, стили, мысли. И что из всего этого победит в следующую минуту – зачастую не знал даже он сам. Его лицо тоже было текуче, и черты одновременно казались и благородными, и не очень. Но был один взгляд – он обжигал меня. Помогал забыть момент настоящий и очутиться в плену. Этот плен был сладок, как мед на устах моего возлюбленного, и даже кобылицы, запертые в стойле моих зрачков и рвущиеся на волю, вдруг затихали. Этот его взгляд мог сжигать время. И превращать меня в меня же, но другую... Именно этого царя мама видела в своих коврах. Это

на нее он смотрел с разных этажей мироздания. Спросите, зачем? Отвечу: хотел еще большей власти надо мной. И хотел, чтоб мама помогла ему в этом.

Но мама больше верила снам, а не голографическим фок усам. И потому не отнес лась серьезно к му жчине этому. К тому же я была в ту пору замужем. За тем самым «белым медведем», которого она увидела во сне, когда мне было всего-то семнадцать лет. А привел его дедушка Осип.

«Выйдешь ты, доченька, за светловолосого, голубоглазого», – глядя неодобрительно на моих друзей, поклонников, воздыхателей, товарищей, ухажеров, кавалеров и женихов, говорила она. Все они были иной масти: то глаза карие, то волосы темные. И у того, что в ночь смотрел и умер в пыли, волосы были черные, а глаза – цвета синего инея. Никто, никто, ни один не подходил под материнское пророчество. «Сон ведь до десяти лет сбывается», – словно оправдываясь, говорила она.

Прошло семь лет. Масть всё не шла. Белый медведь с голубыми глазами так и не появился в моей жизни; впрочем, я сильно его и не ждала. Я уже было и чемоданы упаковала, чтоб уехать к тому, другому, кто называл меня царевной-снегурочкой и ждал. Но нет. Судьбе не перечат. Не своевольничают, не путают ей карты. У судьбы свой расклад, свои планы на человека. Ей лучше знать, где его место. Ведь она – хозяйка житейского балаганчика, а не мы. Мы – крепостные актеры, невольники.

Мне лично, может быть, лучше было бы на каблучках, да по театрам, да по выставкам, да с мужем-журналистом. Но за меня решили: замуж – за светловолосого, голубоглазого, еврея, гения. Чтоб встреча состоялась – надо в чистом поле меня с бабкой-колдуньей столкнуть, растоптать, изувечить мое молодое тело, а потом дать силы встать. А суженого, даже не подозревающего о моем существовании, тем временем отправить не куда-нибудь, а в Карелию, бурные пороги на утлой лодчонке преодолевать, на байдарке. В Карелии – гиперборейские исполины и древние боги мои незримо меж скал ходят и указуют путь странникам. Не всем, конечно. Тем, кого выберут. Выбрали его. Для меня. Дальше, как говорила мама, ни в сказке сказать, ни пером описать...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.